

Д. Н. Овсяннико-Куликовскій

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМЪ ДЕВЯТЫЙ

ИСТОРИЯ
РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
80-е годы и начало 90-хъ

Изд. т-ва „Общественная Польза“ и книгоизд. „Прометей“. С-Пб.

1911

Оглавление

Глава	I.	80-е годы. — В. Г. Короленко	5
"	II.	80-е годы. — „Слѣпой музыкантъ“, повѣсть В. Г. Короленка	25
"	III.	Чеховъ въ 80-хъ годахъ	45
"	IV.	Чеховъ въ 80-хъ годахъ. — „Скучная исторія“	68
"	V.	Чеховъ въ 80-хъ годахъ. — Драма „Ивановъ“	89
"	VI.	Чеховъ въ началѣ 90-хъ г.г. — Разсказъ „Жена“	109
"	VII.	Л. Н. Толстой въ 80-хъ и 90-хъ г.г.	128
"	VIII.	80-е годы. — Письма А. И. Эрделя	144
"	IX.	Демократъ-культуртрегер 80-хъ г.г. — „Василій Теркинъ“, романъ П. Д. Боборыкина	170
"	X.	80-е годы. Россійское ничшеанство. — „Переваль“, романъ П. Д. Боборыкина	204

ГЛАВА I.

80-е годы. — В. Г. Короленко.

1.

Въ исторіи русской интеллигенціи за время отъ начала 80-хъ годовъ и до нашихъ дней *В. Г. Короленкъ* принадлежитъ одно изъ самыхъ видныхъ и самыхъ почетныхъ мѣстъ. 30 лѣтъ стоитъ онъ „на главномъ посту“, являя образецъ русской интеллигентской мысли, совѣсти и дѣятельности въ ихъ лучшемъ, въ ихъ наиболѣе *правильномъ выраженіи*.

Литературная дѣятельность Короленка развернулась въ 80-хъ годахъ. Ей предшествовали годы ученія, годы испытаній и исканій; это была знаменитая эпоха второй половины 70-хъ годовъ. Короленко прошелъ черезъ весь искусъ броженія и революціоннаго настроенія того времени, — и его блестящіе очерки, которыми онъ дебютировалъ въ литературѣ, носятъ живой слѣдъ недавнихъ переживаній тюрьмы и ссылки. Молодой беллетристъ, огромное дарованіе котораго сразу оцѣнила публика и критика, выступалъ въ 80-хъ годахъ — какъ человѣкъ 70-хъ. Но тутъ-же обнаруживалась одна существенная особенность его ума и натуры: молодой писатель былъ уже человѣкъ сложившійся, *но не остановившійся*, — его міросозерцаніе, система его идей и убѣжденій казались опредѣлившимися и законченными, но его душа продолжала расширяться и обогащаться новыми переживаніями. Онъ шелъ впередъ... Взгляды, идеи и опытъ, вынесенные изъ „школы“ 70-хъ годовъ, не стали для него мертвою точкою, — идейною позиціею, съ которой иные не могли сдвинуться, — это былъ скорѣе отправный пунктъ дальнѣйшаго плаванія, маякъ, освѣщавшій горизонты.

Изъ движенія 70-хъ годовъ, въ которомъ было такъ много сектантскаго и утопическаго, Короленко не вынесъ ничего сектантскаго и никакихъ утопій. Въ свое время онъ, разу-

мѣется, отдавалъ дань молодости увлеченію властными идеями утопическаго социализма и могъ питать иллюзіи, которыя тогда въ передовыхъ кругахъ распространялись на подобіе эпидеміи, но его ясный, острый и здоровый умъ оставался на сторожѣ и не переставалъ дѣлать свое дѣло — критики и контроля. У Короленка всегда проявлялось и чутье дѣйствительности, и пониманіе новыхъ, еще смутныхъ, потребностей, вновь возникающихъ недоразумѣній и запросовъ интеллигентской мысли и чувства. И ко многому, что назрѣвало въ 80-хъ годахъ, Короленко относился бережно и внимательно, какъ вдумчивый наблюдатель, какъ художникъ-мыслитель, который не только теоретически знаетъ, что „жизнь сложна“, но умѣетъ интимно и проникновенно ощущать ея сложность.

И когда, позже, онъ оглядывался назадъ, вспоминая 70-е годы, эта эпоха рисовалась ему по преимуществу со стороны тѣхъ осложнений, какія уже тогда возникали въ сознаніи передового поколѣнія. „Вмѣстѣ съ народнической литературой“ — писалъ онъ въ 90-хъ г.г., „наше поколѣніе изучало народъ... оно изучало его также практически, цѣлымъ опытомъ народническо-пропагандистскаго движенія. И мы были поражены сложностью, противорѣчіями, неожиданностями, которыя при этомъ встрѣчались...“ („Воспоминанія о Чернышевскомъ“, см. книжку „Отошедшіе“, стр. 79). — Съ этой стороны, движеніе 70-хъ годовъ представляется не столько попыткою проведенія въ жизнь готовыхъ — народническихъ — идей, сколько подвигомъ провѣрки старыхъ идей и исканія новыхъ. Соотвѣтственно этому, лучшимъ выразителемъ эпохи Короленко считаетъ Глѣба Успенскаго. „Вся литературная біографія Успенскаго“ — говоритъ онъ — „все, за что мы его такъ любимъ, весь захватывающій интересъ его дѣятельности, художественной и публицистической, объясняется этой исторіей интеллигентной чуткой души, натыкающейся, въ поискахъ правды и жизненной гармоніи, на противорѣчія и диссонансы и все-таки не теряющей вѣры“ (тамъ-же). —

Я уже имѣлъ случай цитировать это мѣсто изъ воспоминаній Короленка о Чернышевскомъ въ главѣ X-ой II-ой части, гдѣ рѣчь шла о поколѣніи 70-хъ годовъ. Если читатель помнитъ, я указывалъ тамъ на большую сложность душевной

организации этого поколѣнія сравнительно съ поколѣніемъ 60-хъ годовъ. Въ противоположность раціоналистическому пошибу мысли людей 60-хъ годовъ, люди 70-хъ отличались особою чуткостью къ ирраціональнымъ силамъ жизни и психики. Въ ихъ умонастроеніи уже обнаруживались тѣ черты, которыя потомъ, въ 80-хъ годахъ, выразились полнѣе и нерѣдко доходили до крайностей.

Мыслящіе люди, которые не останавливались и шли дальше, около этого времени (80-хъ г.г.) почувствовали живую потребность пересмотра наличнаго достояща идей. Это было не только слѣдствіемъ пережитаго опыта; тутъ сказывалась также внутренняя потребность расширить свой кругозоръ и ввести въ сферу своихъ умственныхъ и моральныхъ интересовъ многое, что до того времени оставалось незамѣченнымъ или неоцѣненнымъ. Къ числу этихъ людей, не знавшихъ остановки, принадлежалъ и Короленко. Его произведенія 80-хъ годовъ были выраженіемъ не готовыхъ идей, а именно того „пересмотра“, о которомъ я говорю. Впослѣдствіи онъ самъ (въ статьѣ „Памяти А. П. Чехова“), вспоминая объ этомъ моментѣ, писалъ: „Русская жизнь закончила съ грѣхомъ пополамъ одинъ изъ своихъ короткихъ цикловъ, по обыкновенію не разрѣшившійся во что-нибудь реальное, и въ воздухѣ чувствовалась необходимость нѣкотораго „пересмотра“, чтобы пуститься въ путь дальнѣйшей борьбы и дальнѣшихъ исканій“. („Отошедшіе“, 107).

Чтобы понять характеръ и значеніе этого „пересмотра“, нужно вникнуть въ нѣкоторыя особенности и отчасти въ самое содержаніе художественныхъ произведеній Короленка, написанныхъ въ 80-хъ годахъ.

2.

Возьмемъ сперва такія вещи, какъ „Въ подслѣдственномъ отдѣленіи“ (1880 г.), „Очерки сибирскаго туриста“ (1885), „Соколинецъ“ (1885), написанныя подъ еще свѣжими тогда впечатлѣніями тюрьмы и ссылки.

Въ первомъ изъ этихъ очерковъ главный интересъ сосредоточенъ на фигурахъ раскольниковъ и сектантовъ, съ которыми автору пришлось столкнуться въ тюрьмѣ. Здѣсь надо различать самые образы, какъ они воспроизведены, отъ

суждений и размышлений автора о явлениях, воплощенных в эти образы.

Фигуры Яшки-стукольщика, Камышинского мещанина и других сохраняют нерушимо живой художественный и психологический интерес. Суждения и размышления автора представляют теперь только исторический интерес: это — любопытный документ той эпохи, когда передовая интеллигенция так живо интересовалась проявлениями народного протеста в расколѣ и сектах. Народникам — пропагандистамъ 70-х годовъ в расколѣ и сектанствѣ чудилось нѣчто родственное имъ по моральному закалу, по духу и частью даже по идеаламъ (в нѣкоторыхъ сектахъ). Дѣлались попытки сближенія съ сектантами и раскольниками и также пропаганды в этой средѣ социалистическихъ идей, одушевлявшихъ передовую интеллигенцію. Попытки были неудачны, но все-таки вопросъ оставался открытымъ. Фактическая неудача не исключала возможности вѣрить по прежнему в родство по духу, по моральнымъ предпосылкамъ между протестомъ интеллигенціи и протестомъ народнымъ, между интеллигентными искателями правды, борцами за идеалъ социальной справедливости и чисто-народными искателями правды, „взыскующими града“. При этомъ самому содержанию идей не придавали большого значенія и относились съ величайшею терпимостью къ самобытнымъ продуктамъ народной мысли, зачастую совершенно нелѣпымъ. Идеи дѣло наживное, — онѣ могутъ со временемъ измѣниться, — темныя головы можно просвѣтить, — слѣпую традиционную вѣру, казалось, не такъ ужъ трудно превратить в новую вѣру, просвѣщенную и осмысленную... Первенствующее значеніе приписывали самому факту исканія правды, готовности пострадать за свои убѣжденія, хотя бы и вздорныя, моральной стойкости и фанатизму.

Повидимому, исходя именно изъ этихъ предпосылокъ, в тѣ годы общепринятыхъ, наблюдалъ Короленко тѣхъ раскольниковъ и сектантовъ, съ которыми ему приходилось сталкиваться. Онъ рисуетъ Яшку-стукольщика съ нескрываемою симпатіей и старается доказать, что этотъ фанатикъ, „недоступный ни страху, ни лести, ни угрозѣ, ни ласкѣ“, вовсе не былъ сумасшедшимъ, каковымъ признала его „сибирская психіатрія“. — „Я рѣшаюсь утверждать“, говоритъ онъ, „что

Яшка былъ вовсе не сумасшедшій, а подвижникъ “... („Очерки и рассказы“, т. I, 223). — Прочтемъ дальше: „Да, если въ нашъ вѣкъ есть еще подвижники, строго-последовательные, всѣмъ существомъ своимъ отдавшіеся идеѣ (*какова бы она ни была*) *)), неумолимые къ себѣ, „не вкушающіе идоложертвеннаго мяса“ и отвергшіеся всецѣло отъ грѣховнаго міра, то — рекомендую — такой именно подвижникъ находился за крѣпкою дверью одной изъ одиночекъ подслѣдственнаго отдѣленія. Яшка... являлъ въ себѣ весьма опредѣленные черты этого типа“ (I, 223).

Фигура этого подвижника выписана превосходно: получается яркое и цѣльное впечатлѣніе. Но это впечатлѣніе оказывается сложнѣе, чѣмъ, повидимому, казалось автору, и наводитъ на размышленія и выводы, не вполне совпадающіе съ тѣми, какіе предъявляетъ намъ Короленко. Ему, дѣйствительно, удалось доказать намъ, что Яшка — *подвижникъ*. Но, мнѣ кажется, ему не удалось опровергнуть экспертизу „сибирской психіатріи“: на меня Яшка производитъ опредѣленное впечатлѣніе, если не сумасшедшаго въ собственномъ смыслѣ, то несомнѣннаго психопата. Достаточно извѣстны многочисленныя формы психозовъ, находящихся на грани между душевнымъ здоровьемъ и сумасшествіемъ. Яшка — подвижникъ, но подвижникъ-психопатъ, человѣкъ душевнобольной, — правда, изъ числа тѣхъ, которыхъ нѣтъ никакой надобности сажать въ домъ умалишенныхъ.

Мнѣ сдается, что и другой сектантъ, „Камышинскій мѣщанинъ“, — также не вполне благополученъ. Это — представитель курьезной секты, извѣстной подъ именемъ „нѣтовщины“. На всѣ вопросы онъ отвѣчаетъ. „нѣтъ“, „не знаю“, „ничего“. Если не ошибаюсь, секта мало изучена, но ясно, по крайней мѣрѣ, одно: передъ нами крайнее, доведенное до абсурда, выраженіе сектантской изолированности и нетерпимости, — одна изъ самыхъ дикихъ формъ изуверства. Камышинскій мѣщанинъ — фанатикъ и подвижникъ не меньше Яшки. „Казалось бы“, — говоритъ Короленко — „къ тому, что характеризуется этимъ словомъ „ничего“, можно относиться лишь безразлично. Между тѣмъ, Камышинскій мѣщанинъ относится къ нему страстно, онъ является

*) Курсивъ мой.

какъ бы адептомъ, подвижникомъ чистаго отрицанія. Онъ безстрашно исповѣдуетъ свое „ничего“ передъ врагами этого оригинальнаго ученія“ (I, 229).

Изъ слѣдующаго затѣмъ сопоставленія этого народнаго „нигилиста“ съ Яшкой получается выводъ, что оба они, несмотря на глубокое различіе вѣрованій, принадлежать къ одному и тому же типу — фанатиковъ, готовыхъ пострадать за свои „убѣжденія“. Но этимъ не ограничиваются черты сходства. Дѣло въ томъ, что Короленкѣ кажется (или казалось тогда), что суть дѣла тутъ не въ положительныхъ вѣрованіяхъ, не въ „теоріи“, не въ догмѣ, а въ отрицательномъ, протестующемъ отношеніи обоихъ къ существующему порядку вещей. Яшка отрицаетъ этотъ порядокъ вещей съ точки зрѣнія раскольника-старовѣра. Камышинскій мѣщанинъ отрицаетъ его, исходя изъ какого-то народнаго „нигилизма“ или „анархизма“. Яшка, въ своемъ родѣ, — крайній правый, Камышинскій мѣщанинъ — крайній левый. И оба — отрицатели существующаго строя, „революціонеры“. На этомъ пунктѣ они сходятся. И Короленко ставитъ вопросъ: „Что это: непримиримые враги или союзники?“ (I, 230). И онъ рѣшаетъ этотъ вопросъ въ томъ смыслѣ, что скорѣе это — союзники, хотя и безсознательные. — Камышинскій мѣщанинъ представляется Короленкѣ подлиннымъ революціонеромъ. Что касается Яшки, то авторъ думаетъ, что „его сектантскіе взгляды играли (у него) подчиненную роль“, что „они опредѣлялись его отношеніями къ практической жизни, истекали изъ основъ его практическаго міросозерцанія“ (I, 230). Но обращаясь къ характеристикѣ этого „практическаго міросозерцанія“ Яшки, Короленко не можетъ скрыть своего изумленія и — пожалуй — недоумѣнія передъ его нелѣпостью. „И что это было за міросозерцаніе! Какая-то странная смѣсь мифологіи и реализма!“ — восклицаетъ онъ (231). И намъ невольно приходитъ въ голову мысль, что ссылками на невѣжество и темноту народа нельзя объяснить всю нелѣпость иныхъ воззрѣній, создающихся въ расколахъ и сектахъ: приходится долю этой нелѣпости отнести на счетъ либо просто — глупости, либо — такого психопатологическаго уклада мысли, при которомъ явленія и отношенія, ясныя, какъ Божій день, отражаются въ сознаніи на-выворотъ, бѣлое кажется чернымъ, черное — бѣлымъ, существую-

щее — несуществующимъ, небывалое и невозможное — безспорнымъ и фактическимъ. Такое „состояніе сознанія“ нельзя назвать здравымъ. Вотъ послушаемъ: Яшка стоитъ „за Бога и великаго Государя“ и за „старый правъ-законъ“. Онъ — раскольникъ-старовѣръ, глубоко убѣжденный, что Государь исповѣдуетъ этотъ самый „правъ-законъ“, а правительство, служа Антихристу, преслѣдуетъ людей старой вѣры и улавливаетъ ихъ души въ свои, антихристовы, сѣти, съ какою цѣлью оно въ 1861 году отмѣнило крѣпостное право, а потомъ ввело земское самоуправленіе. По глубокому убѣжденію Яшки, за которое онъ готовъ принять казнь, „съ 61 года міръ рѣзко раскололся на два начала: одно — государственное, другое — гражданское, земское. Первое Яшка признавалъ, второе отрицалъ всецѣло, безъ всякихъ уступокъ. Надъ первымъ онъ водрузилъ осьмиконечный крестъ и приурочилъ его къ истинному правъ-закону. Второе называлъ царствомъ грядущаго антихриста“ (I, 232).

Слѣдя за дальнѣйшимъ изложеніемъ этой фантазмагоріи (стр. 232—238), мы не можемъ отдѣлаться отъ подозрѣнія, что она не просто плодъ невѣжества, что она сложилась на патологической основѣ. И мы улавливаемъ эту основу въ несокрушимой вѣрѣ Яшки въ Антихриста. Онъ убѣжденъ въ томъ, что всѣ новые порядки, всѣ эти „гражданскія власти“, земство, новый судъ, все это — дѣло рукъ Антихриста. И если человѣкъ, исповѣдующій „правъ-законъ“, отступить отъ него и примирится съ новыми порядками, то его душу ждетъ неминуемая гибель. Страхъ передъ Антихристомъ, страхъ за свою душу — вотъ центральный пунктъ помѣшательства Яшки. „Онъ былъ вполне увѣренъ“ — говоритъ Короленко — „что люди, державшіе его здѣсь, сознательно стремились погубить его душу, и если до сихъ поръ его еще „не прикололи“, то лишь потому, что живая Яшкина душа доставитъ Антихристу большее удовольствіе“ (I, 234—235).

Передъ нами довольно ясно, какъ мнѣ кажется, выраженный психіатрической фактъ — психоза на религіозной почвѣ. Если это такъ, то и безоглядный протестъ Яшки, выражаемый непрерывнымъ стукомъ и смѣлымъ, негодующимъ крикомъ по адресу Антихриста и его слугъ, самоотверженіе и „подвижничество“ этого сектанта выступаютъ въ иномъ

освѣщеніи, исключаящемъ возможность тѣхъ толкованій, какія даетъ авторъ.

Но эти толкованія, какъ и попытки бесѣды и спора съ Яшкой, представляютъ своеобразный интересъ — какъ отголосокъ или документъ эпохи, когда самый фактъ протеста, подвигъ самоотверженія, стойкость убѣжденія или вѣрованія, „подвижничество“ цѣнились, такъ сказать, *an sich*, казались огромною силою, способною вершить великія дѣла.

Однажды Яшка обратился къ автору съ вопросомъ: „Ты какого правъ-закону будешь? Нашего же, видно?“

Тутъ читаемъ слѣдующее: „Чтобъ испытать Яшкину терпимость, я рѣзко отвергъ свою солидарность съ Яшкинымъ правъ-закономъ и поставилъ передъ этимъ сектантомъ, фанатикомъ обрядности, основанія совершенно несроднаго ему ученія. Въ выраженіяхъ, понятныхъ для Якова, я развилъ извѣстный кодексъ практической нравственности съ основами братства и равенства. Злоупотребляя нѣсколько его невѣжествомъ въ догматикѣ и св. писаніи, я опирался на изреченіи: „по дѣламъ ихъ познаете ихъ“ и на подходящихъ текстахъ изъ Іоанна, совершенно отвергая обрядность и ставя на ея мѣсто „дѣла“, т. е. практическое стремленіе къ осуществленію формулы любви. Все это я выдавалъ за свою религію“ (стр. 237—238).

Сверхъ ожиданія, Яшка обнаружилъ большую терпимость. Онъ слушалъ внимательно и, какъ видно изъ слѣдующаго затѣмъ діалога, кое-что даже понялъ. — „Что жъ? Это тоже хорошо... сказалъ онъ въ раздумьи, — конечно, всякъ по своему разумѣнію...“ — Но, при всемъ томъ, оказывается, что онъ „не замѣтилъ самаго существеннаго... въ исповѣданіи“ В. Г. Короленка (238). Этимъ достаточно объясняется „терпимость“ Яшки. Очевидно слушая внимательно, онъ въ „исповѣданіи“ собесѣдника слышалъ не то, что въ немъ заключалось, а что-то свое. И если въ предъявленномъ ему „ученіи“, „ему совершенно несродномъ“, онъ замѣтилъ протестъ противъ существующаго порядка вещей, отрицаемаго во имя любви къ ближнему, братства и равенства, то это казалось ему лишь своеобразнымъ выраженіемъ его собственной навязчивой идеи о власти и пришествіи Антихриста. Собесѣдники говорили на разныхъ языкахъ — не потому что одинъ былъ человѣкъ темный и невѣжествен-

ный, а другой былъ человекъ хорошо образованный и стоялъ на высотѣ гуманныхъ и передовыхъ идей времени, а потому собственно, что первый былъ душевно-больной, а второй — на рѣдкость душевно-здоровый. Избытокъ душевнаго здравія иногда мѣшаетъ догадаться о душевной болѣзни другого, подобно тому какъ избытокъ физическаго здоровья нерѣдко является препятствіемъ въ дѣлѣ интимнаго пониманія нами тѣлесныхъ немощей другихъ людей.

То, что такъ наглядно обнаружилось въ этомъ эпизодѣ, сплошь и рядомъ повторялось, въ разныхъ комбинаціяхъ, при столкновеніи передовыхъ людей 70-хъ годовъ съ широкою общественною средою, съ народомъ, съ сектантами, съ раскольниками.

Поскольку 70-е годы были окрашены настроеніемъ и идеологіею передовой части общества и молодежи, постольку эта эпоха представляется намъ, если можно такъ выразиться, наиболѣе „непонимающею“ изо всѣхъ эпохъ въ исторіи русской интеллигенціи. Я хочу сказать, что, въ силу рѣзкаго идеалистическаго настроенія, какимъ отличалось это время, въ силу непримѣрнаго подбора сильныхъ, высокихъ, здоровыхъ, морально-крѣпкихъ натуръ, въ большомъ количествѣ выступившихъ тогда на арену общественной дѣятельности и почти цѣликомъ ушедшихъ „въ революцію“, создалось положеніе, напоминавшее то, что происходило въ античномъ мірѣ въ первые вѣка христіанской эры. Это была хитросплетенная сѣть и непрерывная цѣпь взаимнаго непониманія и недоразумѣній — между широкой общественной средой и народной массой съ одной стороны и кругами и кадрами революціонно-настроенной, социалистической молодежи — съ другой. Рознь, „отцовъ“ и „дѣтей“ обострилась въ эту эпоху до крайнихъ предѣловъ, далеко оставивъ за собою ту, которая объявилась въ 60-хъ годахъ, въ эпоху Базаровыхъ и Кирсановыхъ. Но что особенно любопытно и характерно, это тотъ родъ недоразумѣній, яркимъ образчикомъ которыхъ является вышерассмотрѣнный эпизодъ. Рядомъ съ рѣзкимъ антагонизмомъ между передовой арміею народническаго социализма и остальной — „буржуазной“ — средой, возникали сплошныя иллюзіи „родства по духу“ народника съ мужикомъ, социалиста съ сектантомъ, революціонера съ раскольникомъ. Въ этихъ иллюзіяхъ особую роль сыграло

вышеуказанное предрасположеніе здоровыхъ натуръ мѣрять на свой аршинъ натуры больныя, — гуманныхъ — приписывать свою гуманность негуманнымъ, — просвѣщенныхъ умовъ — усматривать какія-то проблески здоровой мысли въ умахъ безнадежно-темныхъ, — наконецъ, склонность людей съ высокимъ моральнымъ строемъ — видѣть таковой же тамъ, гдѣ было только изувѣрство, и еще тамъ, гдѣ наблюдатель, свободный отъ иллюзій, увидалъ бы просто — психозъ.

Лучшіе люди 70-хъ годовъ еще сохраняли кое-что отъ рационализма и упрощеннаго міросозерцанія 60-хъ годовъ. Этотъ элементъ причудливо сочетался съ высокимъ идеалистическимъ настроеніемъ „семидесятниковъ“ и вошелъ въ составъ ихъ „психологической религіозности“. Люди вѣрили въ „искру божью“, живущую во всякой душѣ человѣческой, вѣрили потому, что въ ихъ собственной душѣ она несомнѣнно присутствовала и разгоралась яркимъ пламенемъ. И, по примѣру людей 60-хъ годовъ, они думали, что стоитъ только просвѣтить темнаго человѣка, рассказать ему всю правду, раскрыть ему „хитрую механику“ господствующей неправды и зла соціального строя, — и темный человѣкъ воспламенится такой же жаждой подвига, какою пламенѣли пропагандисты, и масса подыметъ на борьбу за великій соціальный идеаль.

3.

Въ „Очеркахъ сибирскаго туриста“ центральною фігурою является знаменитый „Убивецъ“ — одно изъ превосходныхъ созданій Короленка-художника. вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ образъ важенъ и какъ документъ, свидѣтельствующей о стремленіяхъ Короленка-моралиста и идеолога разобраться въ сложныхъ вопросахъ этики идейной борьбы.

„Убивецъ“ также изъ числа „взыскующихъ града“. Подъ вліяніемъ разныхъ постигшихъ его несчастій онъ „пошатился въ вѣрѣ“ и „сталъ задумываться“. Въ поискахъ новой вѣры и „правѣдныхъ людей“, онъ сдѣлался бродягой и, полагая, что „правѣдныхъ людей“ надо искать въ тюрьмахъ, сталъ добровольнымъ арестантомъ: „назвался бродягой, — и посадили. Вродѣ крестъ на себя наложилъ...“ (I, 271). Въ тюрьмѣ судьба свела его съ человѣкомъ, ко-

торый сразу же произвелъ на него впечатлѣніе „праведнаго“, а впоследствии оказался великимъ мерзавцемъ и преступникомъ. Раскольникъ и глава шайки грабителей, этотъ чело-вѣкъ, хилый старикъ, владѣлъ тайной магическаго воздѣй-ствія на темныхъ обитателей тюрьмы. Онъ прикинулся под-вижникомъ, пріемлющимъ муки „покаянія ради“. — „Прель-стилъ онъ меня тогда“ — рассказываетъ „Убивецъ“ — „истинно тебѣ говорю: за сердце взялъ. Удивительное дѣло! Послѣ-то я его хорошо узналъ: чистый дьяволъ, прости Господи, сомуститель и врагъ. А какъ могъ изъ себя свя-того представить!...“ (I, 273). И „Убивцу“, который тогда „былъ въ задумчивости, вродѣ оглашеннаго, взшло въ го-лову, что есть этотъ старикъ истинный праведникъ, какіе встарину бывали“ (I, 273—274). — „Убивецъ“ совершенно подчинился гипнотизирующему внушенію старика. Старикъ исходилъ изъ положенія: „не согрѣшишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься“ и училъ, что спасеніе — не въ тюрьмѣ, какъ думалъ „Убивецъ“, а на волѣ, въ мірѣ, гдѣ такъ много соблазновъ, и чело-вѣку дана возможность грѣ-шить, сколько угодно, а слѣдовательно, и открыть путь къ спасенію черезъ покаяніе. Эта дикая идея, какъ извѣстно, практиковавшаяся въ нѣкоторыхъ безпоповскихъ толкахъ старообрядчества, приводила къ ужасающему извращенію нравовъ и къ всевозможнымъ преступленіямъ, наглядно по-казывая, что чисто-религіозное стремленіе къ „спасенію души“ принципиально, по существу, вовсе не совпадаетъ съ нравственнымъ началомъ въ чело-вѣкѣ. Коренное различіе между ними ясно обозначилось и въ психологіи „Убивца“. Онъ усвоилъ доктрину старика и пошелъ за нимъ, но эта доктрина оказалась въ рѣшительномъ антагонизмѣ съ мо-ральною основою его природы, — и эта послѣдняя взяла верхъ.

Передъ нами — морально-здоровая натура, какихъ много, но съ повышенными запросами нравственнаго чувства и незаурядною тревогою совѣсти. Вмѣсте съ тѣмъ это одна изъ тѣхъ чрезвычайно-привлекательныхъ натуръ, основу которыхъ образуютъ глубокая правдивость, искренность и честность въ соединеніи съ простодушіемъ и довѣрчивостью ребенка. Грѣхъ къ нему не пристанетъ, несмотря ни на какія внушенія. И если, волею судебъ, ему придется прибѣгнуть къ насилію и совершить преступленіе, то окажется, что,

во-первыхъ, оно было обусловлено мотивами совершенно безкорыстными и даже благородными, и во-вторыхъ, что въ его сознаниі преступленіе само по себѣ остается грѣхомъ, о которомъ человѣкъ вспоминаетъ съ отвращеніемъ и жгучею болью совѣсти.

Вспомнимъ обстоятельства, при которыхъ совершено было убійство. Ѳедоръ Силинъ („Убивецъ“, какъ его потомъ прозвали), по наущенію того же старика („Безрукаго“), долженъ былъ убить проѣзжую даму, которая ѣхала съ маленькими дѣтьми къ мужу, политическому ссыльному. Ихъ и везъ ямщикъ Ѳедоръ Силинъ, выпущенный уже изъ тюрьмы вмѣстѣ съ Безрукимъ и проживавшій на заимкѣ, гдѣ ютилось воровское гнѣздо, въ которомъ Безрукій и былъ главаремъ. Старикъ еще въ тюрьмѣ заставилъ Силина поклясться, что будетъ слушаться его во всемъ и безпрекословно повиноваться ему. И вотъ теперь, когда проѣзжали глухое мѣсто, логъ подъ „чертовымъ пальцомъ“, Силинъ увидалъ: „стоитъ на дорогѣ сѣрый конекъ, старикъ на немъ сидитъ, глаза у него... какъ угли...“ — И послѣдовавшую затѣмъ сцену „Убивецъ“ передавалъ потомъ автору (или рассказчику) такъ: „Я и вожжи-то выпустилъ изъ рукъ. Кони вплоть подѣхали къ сѣрому, стали сами собой. — „Ѳедоръ! — старикъ говоритъ — сойди-ка наземь“. — Сошелъ я съ козелъ, послушался его, онъ тоже съ сѣдла слѣзаетъ. Конька своего сѣраго поперекъ дороги передъ тройкой поставилъ. Стоять мои кони, ни одинъ не шелохнется. Я тоже стою, какъ околдованный. Подошелъ онъ ко мнѣ, говоритъ что-то, за руку взялъ, ведетъ къ кошовкѣ. Гляжу: въ рукѣ у меня топоръ!.. Иду за нимъ... и словъ у меня супротивъ его, душегуба, нѣту, и силъ моихъ нѣту противиться. — „Согрѣши, говоритъ, а послѣ спокаешься...“ — Больше не помню. Подошли мы вплоть къ кошовкѣ... Онъ сталъ обокъ. „Начинай, говоритъ. Сначала бабу-то по лбу!“ — Глянулъ я тутъ въ кошовку... Господи, Боже! Барыня-то моя сидитъ, какъ голубка ушибленная, ребятокъ руками кроетъ, сама на меня большими глазами смотреть. Сердце у меня повернулось... Ребятки тоже проснулись, глядятъ, точно пташки. Понимаютъ ли, нѣтъ ли... — И точно я съ этого взгляду отъ сна какого прокинулся. Отвелъ глаза, подымаю топоръ... А у самого-то сердце закипаетъ... Посмотрѣлъ на Безрукаго, дрогнулъ онъ... А у